

## Глава I

**В** дождливые дни, когда западный ветер гнал по небу тучи, первые намеки на то, что скоро распогодится, появлялись над Железнодорожной насыпью, прямо за садом. Нередко миссис Стивенс, когда ей особенно хотелось, чтобы дождь перестал, выглядывала из боковой двери и искала на горизонте над Насыпью полоску просветлевшего неба.

Насыпь, бесконечно простиравшаяся вправо и влево, делила мир миссис Стивенс пополам. По эту сторону были ее дом и Далидж с его длинными изхоженными дорогами, вдоль которых тут и там жили ее знакомые. А еще по эту сторону, в полумиле отсюда, над крышами возвышался Хрустальный дворец; осенью он иногда посылал им золотые квадраты отраженного заката. За ним расстилались поля и росли деревья — в этих зеленых уголках вересковой пустоши вся семья обычно устраивала пикники, когда Дик и Мэри были маленькими.

По другую сторону Насыпи лежала вторая половина мира миссис Стивенс — почти неизвестная ей

половина. Там были Херн-Хилл, Камберуэлл и огни Лондона, которые в пасмурном небе светились, как серные свечи в темной, давно опустевшей комнате больного, а в ясные ночи слегка разбавляли темную звездную синеву.

В том месте, где заканчивалась Корунна-роуд, под Насыпь ныряла асфальтовая дорожка, продолжавшаяся с другой стороны, но миссис Стивенс редко углублялась в эту часть мира. Покупки она делала в Далидже, и друзья ее жили именно там. Погожие субботние дни они проводили в полях и среди деревьев, к югу от города, на пути к Бромли.

Хотя миссис Стивенс жила в доме двадцать два по Корунна-роуд уже двадцать лет, с тех пор как вышла замуж, она имела весьма смутное представление о том, что находится прямо позади сада, за Насыпью.

Время от времени, когда они проезжали на поезде мимо дома, она пыталась это выяснить. Но народу в вагоне всегда было полно, и она не успевала перебежать от одного окна к другому, чтобы посмотреть в обе стороны. Поэтому ей так и не удалось разгадать тайну местности, лежащей за границей Насыпи, а впрочем, кое-что она с гордостью отмечала всегда. Пока поезд грохотал по Насыпи, перед ее глазами разворачивалась панорама тридцати садов — тридцати домов на Корунна-роуд с четными номерами. И ни один из них не представлял в таком выгодном свете, как номер двадцать два с его тщательно подстриженной лужайкой, аккуратными клумбами и сиренью. Только в саду дома номер двадцать два на крыше сарая не было ни расколотых кирпичей, ни старых помойных ведер.

Но в этот промозглый сентябрьский день сад имел унылый и жалкий вид. Дождь начался рано утром; когда в двенадцатом часу миссис Стивенс вышла из мясной лавки, еще накрапывало, а теперь, в пять, уже шел тихий, унылый дождь, заливавший ямки на дорожках. Она чувствовала себя подавленной и несчастной. Вечер перед отъездом на море всегда считался семейным праздником. Когда Дик и Мэри были маленькими, он мог сравниться разве что с сочельником; иногда они даже признавали этот вечер лучшим во всем отпуске, хотя проводили его дома, а от моря их отделяло еще целых шестьдесят миль.

Но в этот вечер море всегда манило их, и мистер Стивенс, прогуливаясь после ужина по саду, почти ощущал в воздухе солоноватый привкус. У него вошло в привычку перед отъездом задерживаться в саду дольше обычного: он захлопывал крышку письменного стола на пятнадцать великолепных дней, работа оставалась позади, и ему нравилось думать, что этим вечером отпуск уже начался. Выходя в сумерках на лужайку, он расстегивал воротник и дышал полной грудью. Потом шел в спальню и доставал одежду, которую собирался носить на море: серые фланелевые брюки, спортивную куртку из твида, коричневые ботинки на толстой подошве и мягкую твидовую кепку. Правда, кепку он надевал редко. Целых две недели он подставлял свои редкие темно-русые волосы солнцу и ветру.

Миссис Стивенс снова выглянула на улицу. Хоть бы дождь прекратился! Весь отпуск будет испорчен, если они лишатся этого первого вечера, особенно драгоценного потому, что он украден у буд-

ней, — потому, что на самом деле он еще не часть отпуска.

В такие вечера на ужин всегда готовили что-нибудь особенное. В этом году их ждет отварная говядина, потому что из нее получаются хорошие сэндвичи в дорогу, и посуда моется легко, а значит, больше времени останется на окончательные сборы. На сладкое будут яблоки в тесте — любимый десерт мистера Стивенса.

Уже начало шестого. Через час вернется вся семья. Сначала мистер Стивенс (в этот вечер он всегда уходил с работы минута в минуту), потом Дик, а потом и Мэри. К семи все уже соберутся дома. А вдруг дождь будет идти две недели? Однажды именно так и случилось. Она до сих пор помнит тот вечер, когда они тащились от станции по Корунна-роуд, в сумерках, под непрекращающимся дождем, — Дик нес ведро, с которым толком и не поиграл, и мокрую лопатку.

Но на этот раз такого не будет — не может быть: она молилась, чтобы небо прояснилось, и ее молитва была услышана. Еще раз выглянув из кухонной двери, она заметила, что на улице посветлело; гравийная дорожка блестела, капли все реже барабанили по луже, и их становилось все меньше, а вдаль, над Насыпью, крошечная голубая полоска вытесняла с неба тяжелые тучи.

Она вернулась на кухню с таким чувством, будто гора упала с плеч. Теперь все будет хорошо.

Если бы вы спросили миссис Стивенс, почему она счастлива, она бы не сумела это объяснить. Ответить: “Потому что будут счастливы все остальные” она бы не решилась — это прозвучало бы слишком напыщенно и глупо. Спроси вы ее: “Нравится ли вам

отпуск?”, она бы вздрогнула: этого вопроса она всегда боялась, но ей так ни разу его и не задали. Никто этим не поинтересовался. Члены семьи считали, что ей все нравится, а друзья спрашивали только: “Ну как, хорошо ты провела время?”, на что она двадцать лет кряду отвечала: “Чудесно”.

Они всегда ездили в Богнор — с тех самых пор, как во время медового месяца она впервые увидела море. У ее отца была сестра, которая жила на ферме, и он, хотя сам пренебрегал отпуском, год за годом отправлял к ней детей, пока одна из его дочерей не встретила мистера Стивенса и не вышла за него замуж.

Море пугало миссис Стивенс, и она так и не смогла побороть свой страх. Больше всего оно пугало ее в полный штиль. Что-то внутри нее содрогалось при виде этой огромной, скользкой глади, уходящей в никуда, и голова начинала кружиться. На медовый месяц они по объявлению сняли комнаты на Сент-Мэтьюз-роуд у мистера и миссис Хаггетт. Пансион назывался “Прибрежный”, потому что из окна уборной была видна верхушка фонаря на набережной.

Мистер и миссис Хаггетт оказались необычной парой. Тучный и жизнерадостный мистер Хаггетт когда-то служил камердинером у человека, который оставил ему немного денег, — вот на них-то он и купил “Прибрежный”. Он отличался покладистым нравом, на других поглядывал слегка снисходительно и выпивал. Миссис Хаггетт, в отличие от него, была худой и так заискивала перед гостями, что становилось неловко. Коренастая, кривоногая и рыжеволосая Молли, которая верой и правдой работала у Хаггеттов уже много лет, была их единственной служанкой.

Впрочем, дом содержался в порядке и в безупречной чистоте. Стивенсы вернулись туда на следующий год и с тех пор возвращались постоянно — двадцать лет подряд, в дождливую и в ясную погоду, в жару и в холод.

Они часто говорили о том, что стоило бы поехать в другое место — в Брайтон, в Бексхилл, даже в Лоустофт, — но в конце концов Богнор всегда побеждал. Мало того, с каждым годом их все сильнее тянули туда сентиментальные воспоминания. Чернильное пятно на скатерти в гостиной, которое посадил Дик, когда был еще маленьким; небольшое панно, которое сделала Мэри, наклеив на открытку ракушки, — перед отъездом его подарили миссис Хаггетт, и с тех пор каждый год, возвращаясь в “Прибрежный”, Стивенсы видели его на каминной полке в гостиной. На лестничной площадке стояло чучело усаха, которое они называли мистером Ричардсом, потому что усах напоминал молочника, когда-то приходившего к ним в Далидже. Их связывали с Богнором и многие другие ниточки, которые, увы, иначе оборвались бы.

Однако с течением лет “Прибрежный” мало-помалу неумолимо менялся. Мистер Хаггетт, некогда цветущий, как деревья весной, начал чахнуть. Румяные щеки поблекли и покрылись сеточкой тонких лиловых прожилок. Однажды Стивенсы заметили, что его исхудавшие руки дрожат, когда он подписывает квитанцию, а кожа на костяшках пальцев стала дряблой.

Каждый год в один из вечеров, когда дети уже ложились спать, миссис Хаггетт заглядывала в гостиную Стивенсов и тревожным полусшепотом, часто

поглядывая на дверь, рассказывала своим постояльцам, как тяжело пришлось зимой мистеру Хаггетту — все время в постели, то с бронхитом, то с другими загадочными болезнями, о которых миссис Хаггетт никогда не могла толком ничего сказать.

С каждым годом ее повествование становилось все длиннее и внушало все больший страх, пока однажды на Пасху Стивенсы не получили письмо с черной каймой. Миссис Хаггетт сообщала, что в прошлый вторник, в десять часов вечера, ее муж скончался.

В сентябре миссис Хаггетт встретила их в черном. Она рассказала, какая чудовищная погода была в тот вечер, когда умер ее муж, как ревело море, как хлопья снега кружились над дорогой, но, по ее собственным словам, смерть прекратила его мучения. С тех пор она носила траур.

Несколько лет назад мистеру Хаггетту пришлось отказаться от своей единственной обязанности (он менял электрические лампочки), потому что у него начинала кружиться голова. В последнее время толку от него в доме было мало. Но хозяйка пансиона тяжело переживала потерю: теперь, после смерти супруга, долгие зимние месяцы она проводила одна.

В последующие годы Стивенсы не замечали в “Прибрежном” явных перемен к худшему. Миссис Хаггетт все так же волновалась и все так же суетливо, как и всегда, пыталась им угодить. Молли, казалось, не сидела на месте ни минуты — и все-таки что-то было не так, каждый год происходили какие-нибудь мелкие неприятности. Несколько лет назад порвалась цепочка, к которой крепилась пробка для ванны; ее так и не починили, и теперь пробка валялась на дне. Год от года постельное белье ветшало и становилось

все тоньше; однажды мистер Стивенс острым ногтем на ноге зацепил пододеяльник, разорвал его по середине и с тех пор каждый вечер, ложась в постель, случайно попадал ногой в дыру, которая от этого становилась еще больше.

Стивенсы никогда не жаловались и не говорили об этом вслух. Их многолетняя связь с “Прибрежным”, боязнь доставить лишние хлопоты миссис Хаггетт и, возможно, жалость к ней заставляли их молчать. В конце концов, они весь день проводили вне дома.

Но для миссис Стивенс перемены в “Прибрежном” были лишь малой частью волнений и тревог, которые доставляли ей эти две недели в году. Она ненавидела себя за то, что отдых не доставляет ей такой радости, как остальным. Необходимость делать вид, что она получает удовольствие, огорчала ее, потому что было в этом что-то притворное, нечестное. Когда Дик — лет четырнадцати — возился в песке в подвернутых шортах, открывавших его загорелые ноги, и время от времени внезапно подбегал к ней с восторженным: “Как хорошо, правда, мам?”, она отвечала: “Правда!”, и улыбалась, и ненавидела себя за ложь.

Но хорошим был только медовый месяц; с появлением детей эти две недели превратились в тяжелое бремя, а иногда и в настоящий кошмар. Дома дети принадлежали ей, любили ее, приходили к ней со всеми радостями и горестями. Но в Богноре они отдалялись от нее, становились совсем другими. Если она бралась за весла, они смеялись над ней и говорили, что она выглядит очень забавно. Дома они никогда так не делали.



Когда миссис Стивенс была моложе, она пыталась играть с ними в крикет на пляже, но не успевала вовремя заметить летящий мяч и поймать его. Они смеялись — и вскоре она бросала игру и пряталась в шезлонге за журналом, а от жаркого солнца у нее начинала болеть голова.

Но хуже всего была сама дорога до Богнора: хотя дети, подрастая, доставляли все меньше хлопот, миссис Стивенс так и не преодолела ужас перед станцией Клэпем-джанкшен, где они делали пересадку.

Громяхающие тележки носильщиков, путаница с платформами, визг поездов, заблудившийся муж — однажды, купив билеты, он вышел не с той стороны, — ад предстал бы для миссис Стивенс раскаленной добела Клэпем-джанкшен, а черти в нем носили бы форменные фуражки.

Но если Клэпем-джанкшен была самым большим из ее страхов, то путешествие в поезде до предела истощало ее терпение. В первую субботу сентября, когда они уезжали, в вагоне всегда было полно народу. Однажды кому-то из пассажиров стало дурно, и он глухим голосом попросил открыть окно. А в другой раз — несколько лет назад — с одной женщиной в углу купе случилось нечто вроде припадка: она стучала каблуками по полу и стонала. Миссис Стивенс тогда вся похолодела от ужаса. Это происшествие продолжало время от времени сниться ей, и с тех пор она, садясь в вагон, первым делом с неизменной тревогой вглядывалась в лица попутчиков, отчаянно надеясь, что у них будет отменное здоровье и непринужденный вид. Если же кто-то казался бледным и болезненным, она старалась отгородиться от него, пря-

чась за спинами других пассажиров и презирая себя за трусость.

Впрочем, одна неприятность по мере взросления детей отпала, потому что в детстве Мэри всегда тошнило в поезде — тошнило с поразительной регулярностью, сразу после поворота на выезде из Доркинга. Миссис Стивенс пробовала не кормить ее, пробовала давать ей леденцы с резким мятным вкусом — все безрезультатно. В конце концов ее соседка миссис Джек, чью маленькую Аду укачивало точно так же, поделилась с ней отличным планом. Перед путешествиями на поезде миссис Джек всегда клала к себе в сумочку два-три бумажных пакетика. Они быстро открывались, легко применялись по назначению, и их было удобно выбрасывать в окно. Миссис Джек научилась очень ловко обращаться с ними и иногда хвасталась, что успевает расправиться с пакетиком прежде, чем ее удивленные попутчики понимают, что произошло.

Миссис Стивенс ненавидела эти поездки. Она никогда особенно не любила читать. Погрузиться с головой в книгу или журнал она не могла. В дороге она до рези в глазах разглядывала багажную полку и зловещую сигнальную цепочку красного цвета.